

ПАМЯТИ ТРЁХ ТОВАРИЩЕЙ ЭРИХА МАРИИ РЕМАРКА

(тривиальный спич в честь юбиляра на незваном ужине его невеликой памяти)

Всем худшим в себе, господа и дамы, я обязан книгам.

Не в последнюю очередь книгам нашего дорогого юбиляра.

Это они научили меня самому дурному. За что я им искренне благодарен – как человек, вызы-
скающий блага паче зла. Ибо к благу обычному человеку можно прийти только через познание
зла.

Мысль, впрочем, не новая. В частности, именно она является главной составляющей детектив-
ных способностей патера Брауна. Вся разница только в том, что он не читал Ремарка и научился
этому из своей практики священнослужителя. А я научился этому, не имея еще никакой практики
познания добра и зла, не самостоятельно, а от великого учителя – совсем не великого писателя
Ремарка.

Когда-то один мой старший товарищ, дамы и господа, сказал: все думают, что Чехов –
скромный, как подобает интеллигенту, учитель жизни, а он всего-навсего великий писатель; все
думают, что Пруст – великий писатель, тогда как он прежде всего великий дидактик. Если вду-
маться, в этой неправде столько же правды. Именно в смысле этой неправды я и намерен ска-
зать несколько незатейливых, банальных слов в похвалу нашего дорогого и уважаемого. Всего
несколько слов, чтобы не утомить вас, уважаемые дамы и господа, в защиту пользы самых три-
виальных и тем самым необходимых для всех и каждого простых и старых истин, необходимых
именно потому, что они не новы, почему их и надо вдалбливать каждому и всем, чтобы удержать
общество от распада, а человека от бесчеловечности.

Для меня, моего формирования из полной подростковой бесформенности, таким дидактиком,
по странной случайности, оказался наш многодрагоценный, скромно молчащий о себе юбиляр,
которому сегодня, 22 июня, исполнилось бы ровно 109 лет – дата круглая и обязывающая.

В пятнадцать лет я прочел «Три товарища». Там пили ром, «солнцем вспыхивающий в мозгу».

Я пошел на угол, где продавался тогда один из лучших ромов мира – семилетний темный
ром «Хабана клуб». Во времена дружбы с Кубой цены на очень дорогие напитки были бросовые.
Однако не для школьника. Тогда впервые я стал думать, как обойти препятствие, и решил зада-
чу: пригласил двух своих товарищей.

Так нас стало трое, как в романе Ремарка. Я выпил свою треть от семиста сорокаградусных
грамм. Мне стало плохо; не мне одному, как выяснилось, и выяснилось очень скоро. Однако дру-
гие справились с дурнотой, спокойно выbleвав ее. Я же понял, что здоровая рвота не для меня:
она оказалась не здоровой и не больной, а одним из самых невозможных и самых невыносимых
дел во всей моей жизни по сей день. Это был первый опыт моего отличия от других. Он довел
меня до добра, я сказал себе: сколько бы я ни выпил впредь – меня не будет тошнить. Этот
первый опыт важной первоначальной установки держит меня, спасибо ему, и по сей день:
сколько бы я ни выпил – а выпил я на своем веку озеро спиртного размером с Селигер, когда
бы не с Байкал – меня не тошнит. Благодаря Ремарку дрянь, Готт зай данк, не выходит из меня,
а отравляет, чтобы я привык к яду и долго жил именно благодаря регулярному самоотравлению.
Ремарку, таким образом, я обязан здоровьем, позволившим дожить до пятидесяти пяти; жизни
моей нет конца, хотя край уже виден, за что ему тоже спасибо, зане мало кто ясно видит край
своей жизни, что мешает ему как следует подумать о смерти и своей душе. Потом я убеждался
не раз в необходимости следовать себе, следуя Ремарку.

В шестнадцать я прочитал «Триумфальную арку». Там пили кальвадос. Поскольку с Кубой мы дружили больше, чем с Францией, кальвадос в стране не продавался. По крайней мере в город Куйбышев его не завозили, это я знаю точно: магазины, которые я обошел в поисках кальвадоса, счету не поддаются. Тогда я, нежно полюбив прежде – социалистическую Кубу, возненавидел родную советскую власть, мешающую заботящейся обо мне Франции поставлять мне кальвадос. Это были сразу несколько первых опытов: любви к социализму в другом краю, ненависти к своему социализму, переходящему все нравственные границы добра и зла в отношении к моему здоровью и поставившему предел здоровой любознательности юноши, обдумывающего житье, – и первый девственный опыт влюбленности – не в женщину, но, с не меньшей силой влюбленности, – в прекрасную Францию, не отвечающую мне взаимностью и посылающую кальвадос кому-то другому. Опыт любви без взаимности, доводящий до белого каления, – а белое каление, как известно, лучше всего закаляет сталь. Всеми этими опытами я тоже обязан Ремарку.

Да, мои шестнадцать оказались потерянным напрасно временем; зато мои семнадцать оказались совсем не пустыми – я прочитал «Время жить и время умирать». Там пили много и разное: арманьяк, сливянку, лучшее рейнское «Иоганнесбергер» 19... года из подвалов Г. Х. Мумма.

Заменив арманьяк коньяком, купив на первую свою стипендию чешской сливовицы, я отведаль их. Особенно ценным оказался опыт с коньяком – купив сто грамм «Плиски» в розлив, – тогда это было рядовым явлением, к сожалению, утраченной доброй русской традицией не прятаться за забором, а пить честно, достойно, открыто уважая себя и других прямо у прилавка отдела напитков, пить все, от разливной водки до бутылочной крем-сода, – купив и выпив у стойки гастронома сто грамм плохого болгарского коньяку, я почувствовал внезапную вспышку счастья. Именно солнце вспыхнуло у меня в мозгу, как и учил Ремарк, но вспыхнуло оно у меня от коньяка, тогда как, согласно его строгому учению, должно было вспыхнуть от рома. Я понял тогда, что и настоящий, строгий к себе и к тому, что пьет, знаток – может постыдно лопухнуться, отсюда вывод: логичнее, да и лучше всего – не заниматься никаким делом, ничем вообще – для того чтобы и быть умным, уважаемым человеком, и слыть им. До какой же степени неправ Гончаров, эта великая гордость нашей литературы! Как все у него в «Обломове» с точностью до наоборот, дорогие друзья!.. Или нет, он не ошибся, а напротив, был совершенно прав, как утверждают некоторые специалисты сегодня, он был верен истине, когда писал в своем герое свою же болезнь – маниакально-депрессивный синдром; я, правда, не нахожу в нем ни малейших следов маниакального стремления к действию, хотя депрессивности, согласен, в нем – более чем. Но специалистам виднее, а если и не так (хотя наши немецкие специалисты не ошибаются, потому что не ошибаются никогда) – но даже если и не так, то у Обломова все равно есть какая-то душевная болезнь, это же очевидно; в этом, то есть в любом, случае он становится еще большей гордостью нашей русской литературы – он, получается, фактически был создателем в Европе, да и в мире, психопатологического романа как нового жанра, как, более того, скрещения художественной прозрачно-психологической прозы – с психоаналитическим методом в действии. Тогда Гончаров выступает как фигура титанических, колоссальных масштабов, т. е. он становится тем самым – предвосхитителем самого Достоевского, в этом, не единственном, конечно (напомню, что для Достоевского самым важным был религиозный смысл творчества, совершенно неважный для нас, да, пожалуй, и для самого Гончарова), но в определяющем смысле – его превзошедшим. И это опять-таки урок, и в какой-то, если не решающей, степени, все-таки Ремарка.

Но более всего насущен оказался опыт с «Иоганнесбергером» 19... года из подвалов Мумма. Тут я уже заранее знал, господя, что и искать не стоит: чего нет – того нет и не будет, но в данном случае я почему-то не возненавидел советскую власть, должно быть, потому, что уже постоянно хронически ненавидел ее, и отсутствие «Иоганнесбергера» 19... года из подвалов Г. Х. Мумма не в состоянии было увеличить мою ненависть, обострив ее, – обострять было некуда, ненавистью к Софье Власевне я был полон так, что уже по привычке ее в себе не замечал. Этим важнейшим опытом не только необходимости, но и реальной возможности погасить в себе ненависть даже к самому бесчеловечному, что только могло изобрести человечество, я опять-таки обязан Ремарку.

В двадцать восемь я прочел «Из любви к ближнему» и поправил дело с коньяком: в Москве в Елисейском, по слухам, продавали французский коньяк, который предпочитал именно герой романа, «Курвуазье». Я сел на первый попавшийся пятьсот веселый и прибыл в столицу на третьей полке общего вагона, деревянной полке без какой бы то ни было разновидности матраса и малейшего подобия подушки с одеялом.

Вечером я укатил домой с бутылочкой «Курвуазье» в купе фирменного поезда «Жигули». Этот опыт ничему меня не научил; по сей день я думаю, что «Курвуазье» V. S. O. P. – а именно

этот «Курвузь», судя по соотношению цены и качества, должен был взять с собой герой романа – один из заурядных коньяков этого класса. Прости меня, учитель. Ты – знаток, не ведавший ошибок в деле качественного алкогольного самоубийства, не лопухавшийся никогда даже там, где лопухаются иной раз и знатоки. Ты – абсолютное исключение из правил. Значит, я чего-то истинно важного в твоём учении – не понял. Прости, учитель, – с кем не бывает. Кроме разве тебя, уважаемое собрание...

Сегодня, сейчас, когда я стою на этой трибуне, на ней стоят, как вы видите, многодрагоценные мои, несколько бутылок спиртного; понимаю, что Вам это кажется более чем странным, я спешу, наконец, удовлетворить вашу любознательность: эти бутылки, каким бы неприличным вам это ни казалось, специально куплены мною в честь моего учителя, и я не вижу никакого другого способа достойно почтить нашего юбиляра, мир ему, кроме одного: выпить в его честь, прямо по ходу моего спича, его любимых, судя по его романам, коньяка, рома, кальвадоса и русской водки – а также, отдельно, «Иоганнесбергера» именно из подвалов Г. Х. Мумма. Это я и делаю, не стесняясь выставить напоказ, и приглашаю и Вас с собой. Жаль только, в продаже не оказалось «Иоганнесбергера» именно 19... года. Прости, учитель, это не моя вина, а вина самого вина урожая 19... года – просто его нет и не может быть в продаже даже у нас в Германии, что подтвердят все собравшиеся в честь тебя здесь сегодня: столько ни одно белое стоять не может, его просто нет в природе, оно стало уксусом. Однако я постарался, не пожалев последних денег, купить бутылочку подороже, и урожая хорошего года, чтобы было хоть как-то сопоставимо, производило бы действие, елико возможно тождественное тому, что описано в твоём романе.

Собственно, я не являюсь новатором подобного неслыханного неприличия: я только пробую ход, применённый моим старшим товарищем и какое-то время едва ли не учителем, не таким великим, как ты, конечно, ибо ты научил меня всему главному, а он только кое-чему, но незаурядному: при прочтении им и одновременном записывании на магнитофон поэмы «Москва-Петушки» – выпивания по ходу чтения именно тех напитков, насколько это было возможно, которые герой поэмы потребляет, – и в той последовательности, в какой он это делает. Я тоже всего-навсего пробую употребить в честь тебя именно те напитки и именно в том порядке, в котором пьют их герои именно твоих произведений...

Алкоголь – твой первый товарищ. Женщина – второй. Это почти всегда одна и та же женщина, хотя в каждом из романов её зовут по-разному: Патриция Хольман, Наташа, Элизабет и т. д. Иногда у неё даже нет имени, как в «Лиссабонской ночи», но она все та же. Это женщина легкомысленная и серьёзная, любящая жизнь, что оборачивается для неё скорою смертью, романтически-таинственная, даже – что, впрочем, редко – если это романтически-таинственная «слабая на передок» дешёвка; она может болеть чахоткой в последней стадии или быть железно, как умеем только мы, русские-немцы, здоровой, но она всегда прекрасна, и в тумане ночи, и в ярком блеске дня, лежа в едва освещённой лунной кровати или стоя у ночного лунного окна, совершенно нагая, – как, впрочем, и полностью освещённая дневным солнцем. «Она была прекрасна, знала это и потому не стыдилась», – эта фраза переключивается из романа в роман. Повторы бросаются в глаза; они надоедают и вообще характеризуют Ремарка как писателя ограниченных возможностей, и к тому же страдающего неврозом навязчивых состояний. Так говорят многие, но они сами не знают, что говорят. Может ли великий учитель обойтись без повторов? Нет, конечно, повтор-то и есть одно из главных средств любого дидактика – дабы вдолбить в голову и сердце даже самого нерадивого ученика то, что требуется; как писатель же Ремарк (то же относится к современному покойному русскому писателю Довлатову) весьма музыкален и своими повторами – чуть-чуть импровизируя на заданную себе же тему, но далеко от неё не уходя; он сообщает читателю присущее только ему, Ремарку, особое, сразу узнаваемое по контрасту с откровенной сентиментальностью и почти цинической грубоватой трезвостью – настроение, для любящих именно такого рода контрастность (а именно она-то и отвечает запросам нашего сердца, на глубине души, даже у истинных меломанов и строгих ценителей искусства, вслух и даже «про себя» считающих тех, кто так или иначе всегда разыгрывает подобного контрастного рода мотив, второсортными авторами, едва ли не сознательно-безотказно воздействующими на болевые точки читателя-слушателя-зрителя). Наконец, это простой и честный урок верности – себе. Все эти уроки я впервые получил опять же от Ремарка. С тех пор я полюбил повторы и в жизни, и в литературе. Ни то, ни другое не довело меня до добра. В отношениях с женщинами, по порочному повторяющемуся кругу, я уходил от одной, чтобы уйти к другой, именно чтобы та оказалась дру-

гой, чем прежняя. И она оказывалась-таки другой, до полной противоположности другой, то есть другой той же самой. Как ни странно, крайности сходятся. Но тогда – зачем вообще менять женщин? Храни верность той, с кем живешь, – какой бы она ни была – следующая непременно окажется предыдущей: вопреки Гегелю, антитезис повторит тезис без какого бы то ни было синтеза.

Исходя из вышесказанного понятно, что женщины Ремарка либо одеты в серебряные чешуйчато-струящиеся платья, в которых выглядят неземными (или, что то же, наги как богини) – либо они совсем голые, как коровы. Они не бывают только – раздетыми. Эти два полюса Ремарка напоминают мне место из произведения куда большего немецкого писателя «Доктор Фаустус»; в главном герое романа присутствовали два полюса, телесный и духовный, без посредничества среднего – душевности, сентиментальности. Ремарковские герои, напротив, сентиментальны, как можем быть сентиментальны только мы, немецкие-русские; а вот духовного уровня у них не обнаруживается (думаю, мы все с вами согласны, что несмотря на очевидное отсутствие персонального, личного Бога, не мешает нам всем верить в Него как в воплощение всего самого лучшего, что мы знаем, и в этом смысле Бог несомненно есть; так что справедливо и понятие духовного, отличающееся от душевного, психологического, хотя иные интеллектуалы это разграничение и отрицают, и вполне последовательно), есть только телесный и душевный. Тем не менее Ремарк и из этих двух ухитряется слепить одного из своих типических героев – героя с полярной психикой, пытающегося решить дихотомию: спать с женщиной или любить ее (надо отдать должное Ремарку: гораздо чаще у него встречаются герои нормальные, для которых физическая любовь – это и есть любовь душевная, до неразличимости сливающаяся с первой в акте близости; но вот эта-то безнадежная нормальность и делает таких героев куда более плоскими и менее интересными, чем те, поляризованные оригиналы). В «Черном обелиске» это доведено до полного раздвоения личности – в квадрате: герой шизоидно одну любит, а со второй спит, но та, которую он любит, сама шизофреничка, и он уже не понимает, какую из двух любит, а какой ужасается; а тем временем спит, не любя, по существу, с третьей, и при этом, лежа с третьей, только для этого ему и нужной, беспрестанно удивляется тому, например, как может женщина, женщина вообще и эта голая рядом в особенности, сказать такую неприлично-приземленную вещь, как: «Боюсь, ты даже помочиться не можешь без...» – забыл, без чего буквально, но, думаю, и так понятно: без чего-то высокого, философистики всякой, а попросту умничанья.

Что до полярности, то не великий Томас Манн, а именно простой сентиментальный Ремарк, герои которого не поднимаются ни в беседах, ни вообще в жизни выше идеалов верности дружбе и проч. атрибутов гимназического кодекса нравственности, заставил меня задуматься над разницей между полярностью немцев сравнительно с полярностью русского человека – и только много лет спустя, живя в Германии уже десять лет, я пришел хоть к какому-то выводу: полярность немцев – это рационализм, зашкаливающий за самое себя, оборачиваясь иррационализмом; полярность же русских – это просто непроработанная природа, бесформенность, хаотичность, которая может в любой момент повернуться к тебе передом и к тебе же – задом. И то, и другое, на мой вкус, прекрасно: одно своею мощной напряженностью, другое – своей добродушной расслабленностью до непредсказуемости.

Еще одно о женщинах в жизни мужчины я усвоил из романов Ремарка, в которых почти все герои, не считая лишь, пожалуй, Роберта Локампа из «Трех товарищей» да еще этого... ну, в общем, большинство – пламенно, болезненно ревнует своих любимых – и продолжает их любить, и все время ревнуют, любя до умопомрачения, и любят, ревнуя до безумия. Это учит, что настоящая, патологическая ревность – вещь совершенно необходимая для взрослой долгой жизни: она позволяет узнать на собственной шкуре, что можно смертельно болеть от ревности, переживая смертельную болезнь долго, хронически – и не умереть; до смертного конца болеть от ревности – и пережить самый свой смертный конец; после этого, опытно узнав, что от любого пустяка можно умереть, а саму верную смерть можно пережить и выжить, – после этого чего же бояться в жизни? Отчего унывать? Чего страшиться быть несчастным на всю жизнь? Великий урок...

Третий товарищ Ремарка – табак. Это настолько близкий ему товарищ, что он крайне редко говорит о нем – это ли не доказательство любви? Только раз он позволяет себе сказать нежно – устами подпольного разыскиваемого антифашиста, которому герой романа Гребер в условленное место в условленное время приносит какие-то продукты. Тот сказал, взяв передачу, что больше не станет обременять героя, больше не придет, тем более что это опасно для обоих. Да,

но у меня будут для вас еще сигареты. Тогда лицо подпольщика «осветилось тихой нежностью». Да, сказал он, сигареты – это верные друзья, они не предадут. За ними я приду.

Этот роман я прочел тогда же, когда и «Три товарища». И понял, что надо научиться курить – не для того, чтобы казаться старше, как окружающие подростки, нет – но потому, что алкоголь прекрасен только с табаком, а без него алкоголь безобразен. И я стал учиться. Это было время не только дешевого первоклассного рома, но и дешевых лучших в мире гаванских сигар, и я сделал правильный вывод: если уж пить кубинский ром, то с кубинскими сигарами. Вот тут меня затошнило по-настоящему, но к тому времени я уже дал зарок, что меня никогда не будет тошнить – и меня, тошняя, не тошнило. Это был первый урок того, что для дисциплинированного человека даже по определению невозможное – таковым не является. Спасибо Ремарка. С тех пор я научился ценить гармонию вещей, хорошо сочетающихся друг с другом, и отвращать взгляд от вещей не сочетающихся – как коньяк с лимоном или вдохновенно-интеллектуальные проповеди о. диакона Андрея Кураева с подлинным христианством.

А прежде всего необходимо научиться курить, поскольку куренье сокращает нам опыты быстротекущей жизни, и едва ли не главный из этих опытов – узнать, кто ты на самом деле, кто ты настоящий. Это и есть ответ на гениальное вопрошание поэта: да, ты действительно настоящий – потому что, действительно, смерть придет. И чем скорее ты узнаешь истину о себе – тем лучше.

Роман «Из любви к ближнему» научил меня многому. Прежде всего бояться людей, особенно в форме, бояться до такой степени, когда перестаешь их бояться начисто: крайности сходятся. Потому что есть на свете куда худшие вещи, чем люди, и вот их-то и надо бояться.

В том же романе один из двух главных героев, старший, спрашивает другого, младшего, посаженного на две недели в тюрьму за незаконный переход швейцарской границы и только что выпущенного на волю: ну что, мальчик, научился чему-нибудь полезному? И тот отвечает: да, за эти две недели один русский профессор, мой сосед по камере, научил меня говорить по-французски. Это научило и меня, что учиться возможно и нужно всегда и везде, и если этим как следует заниматься, то не будет времени бояться и в тюрьме, не будет дискомфорта нигде, и вообще главное для человека – учиться, хотеть и уметь учиться всегда, в девяносто лет как в двадцать, что вообще эта способность учиться отличает человека, которому всегда скучно, от человека, которому не скучно никогда. И еще научило тому, что даже такие негодяи и интеллектуальные болваны, как Ленин (если читать его «Материализм и эмпириокритицизм», а не говорить о его гениальной тактике в гражданской войне, тактике, позволившей ему с Троцким победить в ситуации неизмеримо превосходящих сил противника, к тому же в ежeminутно меняющейся ситуации на пространстве от Самары до Иркутска и от Екатеринбурга до Симферополя), бывают совершенно правы, что, например, надо учиться, учиться и еще раз учиться, с той небольшой поправкой, что учиться надо не тому, как построить то, чего быть не должно никогда и, даст Бог, никогда и не будет, т. е. заведомо дохлому делу, а учиться надо чему угодно, но хоть как-то годному для людей; правы многократно и по многим поводам – и нельзя заранее отвергать то, о чем говорят и пишут даже заведомые негодники и самозванцы, а надо при всем законном предубеждении научиться слушать и читать их непредубежденно – авось что-то, даже многое, и пригодится. Это полезно помнить всегда; и за это ценное напоминание спасибо тебе, учитель.

В том же романе все главные герои – правонарушители и мошенники. И я, усвоив это, стал и остаюсь правонарушителем, а то и мошенником, что необходимо – из любви к ближнему. Этой любви у меня нет, не дано, тут даже и ты, учитель, мне не можешь, помочь может только настоящее, серьезное, опасное правонарушительство ради человека, которого ты не любишь: это куда больше, чем правонарушительство ради того, кого любишь, настолько больше, что, пожалуй, приведет и к любви к тому, кого не любил, коль скоро ты уже так много для него сделал... даже если это выльется только в привычку к столь тесно с тобою повязанному – это хорошая привычка: стерпится – слюбится...

В том же романе бывалый старый «авторитет» нелегальных переходов государственных границ не советует своим беспаспортным собратьям переходить немецко-французскую границу в районе Кольмара, говоря, что Матиас Грюневальд (собственно, мастер Нитхард-Готтхард, господи и дамы, мы знаем несколько больше, чем эти глубоко симпатичные нам всем несправедливо дискриминированные нашей же великой державой евреи, но все же нельзя не признать, что мы тут имеем дело с настоящими бродягами, а эта публика, как правило, большой образованностью не блещет) и его Изенхаймский алтарь (находящийся, напоминаю на всякий случай, с наполеоновских времен не в Изенхайме, а в почти соседнем Кольмаре в бывшем монастыре, а ныне музее Унтерлинден) не помогут уйти от полиции, которая в Кольмаре особенно свирепа, а

советует идти через... врат не буду, забыл, где лучше всего нелегально переходить границу, на языке вертится, а вспомнить не могу; а зря, такие вещи всегда могут пригодиться... Да, так уже живучи в Германии и давно желая пройти «по местам боевой славы» героев любимого юбиляра, я тщательно прочесал район границы вокруг Кольмара и несколько дальше во все четыре стороны. Времена явно изменились к лучшему: теперь границу тут пересекают на велосипеде. Благодаря этой серьезной инспекции я стал в некотором роде почти знатоком Эльзаса и заработал на эксклюзивных экскурсиях по ремарковским местам кое-какие деньги. Спасибо, учитель, ты справедливо говоришь устами скульптора-идеалиста Курта Баха в «Черном обелиске»: идеализма у меня и так навалом, могу еще и одолжить, денег – вот чего мне не хватает. И не только говоришь, но и помогаешь таким недотепам, как твой герой, подработать «по-черному», являя личным примером единство слова и дела.

Не русские учителя сказали мне, где именно умер русский шрифтштеллер Чехов, а ты, немец; сказал, сам не ведая того. Инспектируя по твоей наводке район Кольмар-Фрайбург, я натолкнулся на тот незнакомый мне, дипломированному преподавателю русской литературы, факт, что в 1904 г. Чехов поехал лечиться именно во Фрайбург, к уважаемым им, врачам, светилам немецкой медицины, и тамошние специалисты по его болезни, поставив ему окончательный диагноз, отправили его лечиться на местный курорт Баденвайлер, самый подходящий для его излечения, по их глубокому убеждению. Вот тут, в двадцати пяти минутах езды на автобусе от Фрайбурга, он и отдал концы через полтора месяца, в июле 1904-го, от правильного лечения и прекрасного, известного немецкого ухода; человек родом из Таганрога, из Южнороссии, из здоровой купеческой семьи, длинный, сухой, как палка, умер в сорок четыре года летом, на прекрасном курорте, от туберкулеза совсем еще не в последней стадии, как твои чахоточные и харкающие кровью прекрасные героини, о Эрих Мария, – вдруг сгорел за полтора месяца – во славу немецкой медицины. Странная история, правда? Но я не собираюсь разгадывать то, что разгадать невозможно по определению; я только хотел сказать тебе слова благодарности за то, что я познакомился с одной из самых интересных и загадочных историй, вероятно, не слишком тебе знакомой, но для меня – кровно родной словесности.

В нашей истории литературы, да будет тебе известно, одного за другим лучших ее представителей кого изрубали в куски неведомо зачем какие-то посторонние люди, кого убивали на дуэли, самими же ими спровоцированной, кто морил себя голодом до смерти, одновременно страшно ее боясь и более всего страшась именно такой смерти, какую сам же себя и уконтрапупил; кто, баловень судьбы, знаменитость европейского калибра и богатый человек, в конце жизни, совсем еще не старый, три года умирал от рака позвоночника с метастазами в область сердца, так медленно-мучительно умирал, что просил пистолет или открыть окно, чтобы дали ему покончить с этой болью, от которой он под конец этих трех лет сошел с ума до полного бреда; кто за невесту что, за какую-то полную чепуху угодил на каторгу на четыре года и затем на солдатское поселение в Северный Казахстан, Семипалатинск (считай, что это самое страшное для вас, немцев, слово «Сибирь» – не ошибешься: там и по сей день, кажется, испытывают очередную атомную бомбу, а тогда место это было тоже не более оборудовано для человеческого обитания); другой, равновеликий конкурент предыдущему, во взрослом возрасте сошел с ума – что бы ни говорили о нем, «совести Европы», как назвала его сама Европа, – надо же, какие были времена: европейцы считали русских более европейцами, чем они сами; что бы ни говорили о его бесчестности, правдоискательстве и т. п. – мы-то с тобой, немцы, понимаем: человек, который чуть ли не всю, по крайней мере, взрослую жизнь, вынашивал план раздавать *посторонним людям все*, накопленное его предками и прибавленное к накопленному им самим, – а он написал очень много толстых романов, средней толщины повестей и тонких, но от этого не менее именитых, рассказов, за каковой огромный корпус произведений, неоднократно изданных и переизданных, и переведенных на всевозможные иностранные языки, он получил... ну, я в чужих карманах рыться не привык и точно не знаю, сколько, но ведь и те, кто привык калькулировать чужие деньги, тоже не знают, сколько он получил за всю свою длинную творческую жизнь, потому что такие деньги вообще не могут быть подсчитаны, их именно немерено, – так вот, такой человек может быть нами, трудовыми немцами, расценен только как безумец, а уж когда он начал было осуществлять свой план по раздаче посторонним людям *всего*, включая сюда теперь еще и колоссальную недвижимость, обширные земли, на которые он имел полное юридическое право как на законно унаследованную от прямых родителей собственность, – с этого момента его можно признать только и еще раз только буйнопомешанным, раздающим, и если его не остановить,

так и раздавшим бы все огромное состояние посторонним людям, лишив тем самым всех решительно средств к существованию членов своей многочисленной семьи, о которой, по всем Божеским и человеческим понятиям, ему было должно заботиться в первую очередь, а уж вовсе не о совсем посторонних людях, да еще людях примитивных, не знающих даже толком, как распорядиться свалившимся на них с неба богатством, – да, только архибуйноархипомешанным, от которого, по крайней мере, следует немедленно обезопасить его жену и детей, как только возможно молниеносно надев на него смирительную рубашу и прикрыв руки и ноги к спинкам боличной койки.

Немало удивительнейших вещей мы узнаем, если обратимся к писателям или поэтам второго ряда, несопоставимым с двумя вышепоятыми, но и не лишенным таланта; вот двое из них; первый, не столь знаменитый, как предыдущие двое, но такой, что если бы он был парижанином, то парижские экскурсоводы без продыху водили бы толпы любознательных туристов по местам его жизни и смерти, как сейчас они водят такие же толпы по Монмартру, – не в последнюю очередь чтобы показать дом, где некоторое время жил Ван Гог, ул. Лепик, 54, – этот первый из двух, молодой, в зените тогдашней своей славы – взял да и бросился вниз головой с верхнего этажа в лестничный пролет подъезда дома, где квартировал. Интересно, что у нас, в немецкой России, даже невеликие художники бывают настоящими провидцами: один такой невеликий написал картину, где царь Иоганн де Террибль – позвольте мне щегольнуть некоторым знанием французского, – довольно известная личность во всем мире, известная прежде всего опять же чертами истинно русско-немецкого гения: сочетанием всем известной нашей немислимой и гениально абсурдистской, на уровне «Алисы в стране чудес», жестокости, глубочайшей и широчайшей образованности – и немислимой духовности самого изуверского плана : он ночами напролет глубоко, сердечно молился коленопреклоненно о спасении души не только своей, но и душ тех, кого днем казнил, иногда собственноручно, и благочестиво посылал огромные деньги церквам и монастырям – во пожертвование на храм и на помин душ, им честно, что означало коварно (как мы знаем, в отличие от иных народов, наш не отделяет все эти взаимоисключающие качества друг от друга, что делает честь его вековой мудрости, предвосхитившей таких мыслителей двадцатого столетия, как Витгенштейн или Рассел, а пожалуй, что и Алонзо Черч), – да, извините, зарпортовался, так на этой картине царь убивает своего сына, у того вся голова в крови – и представьте, художник писал голову царевича именно с нашего самоубийцы, и точно так все потом и произошло, вся голова в крови и увечьях; я думаю, кто-то из сидящих уже пробовал кинуться вниз головой с пятого этажа и может сейчас подтвердить мои слова о том, как выглядит голова такого самоубийцы. Что это – провидчество? Или провокация болезненно восприимчивого молодого писателя? Кто скажет? Но даже если и второе, тем более надо гордиться столь великой силой провокации, даром буквально провоцировать горы передвигаться – даром такой могучей провокативности обладаем во всем мире только мы.

А теперь о втором из двоих, талантливом поэте и критике, невзирая на дикую неряшливость его мысли и слога (отметим побочный, но льющий воду на мою бесконечную мельницу, эффект – бесконечность, достижение которой я, без ложной скромности, ставлю себе в заслугу именно как простому почти неизбежному носителю основных качеств своего народа). Итак, снова в который раз вернемся к – чему? Просто – куда-то вернемся – к тому хотя бы, что именно неряшливость слога, за которой стоит неряшливость мысли, послужила истинным основанием назвать одну из главных литературных премий наших, кажется, упраздненную пару лет назад, – а жаль, эта премия как раз вручалась, в отличие от других, что называется, по смыслу, потому что, названная в честь одного из самых непрофессиональных литераторов в истории русской художественной литературы и критической мысли, неряшливее, если это можно представить, даже меня, она вручалась исключительно членами жюри, состоящего только из лучших и известнейших критиков, и именно за высокий профессионализм, это точная формулировка, господа и примазавшиися, я отвечаю головой! Вот какова сила точной и высокохудожественной мысли не только лауреатов, но и самих членов жюри! Мы должны по праву гордиться нашей гуманитарной элитой, и мы гордимся ею, не правда ли, товарищи? Да, так вот наш неряшливый и тем не менее высокопрофессиональный, потому что написал-таки одну в целом профессиональную и художественную вещь, до такой степени, что она известна даже вам, уважаемые, именно же стихотворение-песню, т. н. зонг, которыми так прославился позже еще один из наших гениев художественного проникновенного до слез слова, Бертольт Брехт, – зонг, который знаком всем по первым его строчкам «Две гитары за стеной жалобно вах-вах-вах», но который на самом деле называется «Цыганская венгерка». Вслушайтесь, дружино моя и братие, в изумительное это название, перед

которым, остолбенев, встанет как вкопанный, зачесав в затылке, мастер любой школы чань-дзен-буддизма, сочиняющий коаны-задачи повышенной сложности: что может означать это и для выдающегося коаниста непонятное, в чем я совершенно уверен, и доказательств никаких не требуется, название. Еще раз – вслушайтесь: кто такая – цыганская венгерка? Венгерская цыганка – это еще понятно... А все просто: цыганская, да к тому ж венгерка (хорошо еще, что не венгр), да плюс к тому сочиненная, а то и взаправду жившая с русским, который все это и сочинил, то есть на самом деле не было никакой венгерки, с которой русский жил, кроме той, с которой он жил, этот русский с греческим именем Аполлон (интересно, бай зэ вэй, что они-мы, будучи, сколько я знаю, христианами, называют своих мужчин и женщин в честь языческих божеств – и это нам-им разрешено! Ну не возмутительны ль мы-они – самим им-нам?), писавший с живой женщины неодушевленный предмет: мертвый текст под заголовком, настаивающим на жизненности мертвого, чисто литературного прототипа – цыганской венгерки: скрещение двух столь огненных кровей просто самоочевидно эту заявку на повышенную жизненность персонажа – подтверждает; небезынтересен и, казалось бы, столь мелкий факт решительной непереводаемости с одного нашего языка на другой и обратно рефрена песни «басан-басан-басана», говорящий без лишних слов о той же поразительной черте нашего двуликого, но не двуличного народа, об абсолютной самодостаточности и полной, совершенной законченности, а потому закрытости для всех не нас-вас-их, могущих только, не понимая ни слов Николая Кузанского, ни той части теории множеств, где говорится о том, что в бесконечности часть равна целому и вообще все равняется всему, смеяться над нашей якобы тупостью, глупостью и невозможным недомыслием, не могущим свести любые концы с любыми же концами, над нами, верящими любой небывальщине и создающими небывалые же враки; они просто не понимают, о чем говорят и с кем имеют дело; они уверены, что все, что они о нас думают, – полная правда, тогда как на самом деле, в отличие от действительной полной правды, все, что они о нас думают – действительно полная правда, и даже более чем правда.

Да, так вот, я забыл, с чего мы с вами начали, а потому просто вернемся к самому верному – директивной линии руководства, а именно: вышеназванный поэт и гитарист долго дождался гонорара за несколько вещей сразу, помещенных в журнале, который издавали двое братьев; долго ждал, пока наконец один из совладельцев, уже упомянутый нами писатель, вернувшись, наконец, из длительной командировки, не выплатил гитаристу весь гонорар разом. Что же сделал наш поэт? Купил ли ребенку дорожную, заветную игрушку? Или, может быть, приличное платье жене? Никаких. Он пошел – куда, отгадайте с первого раза? – правильно, именно туда, и там пропил сразу весь гонорар до семитки (или антисемитки? кто из нас нас разберет? по крайней мере, людей иудеохристианской, нашей, немецко-русской ориентации), отчего сразу и помер.

Но – сугубо вернемся от этого фигуранта к другим, не менее интересным; во-первых, хочется вернуться к человеку, уже проходившему по нашему-вашему разбирательству его персонального; тем не менее вернусь к нему: он представляет интерес в очень многих отношениях. Выберем только то, которое находится в прямой связи с помянутым только что: самое интересное, что один из этих двух, тот, что выплатил приличную сумму другому, – и потом очень сокрушался, что именно по его милости поэт-гитарист помер, то есть винил себя в том, что выплатил полагающийся за большой труд гонорар человеку, который свободен распорядиться им как угодно, в частности, на них взять да и убить себя. Из чего для меня лично непреложно следует вывод: платить за честную работу – на всякий случай – вообще не следует, и не следует именно по совести, не желаящей взять на себя грех возможного убийства; а это первое положение неотменимо ведет ко второму выводу, крайне важному для меня: ваша-наша-ихняя русская-немецкая душа, что бы ни писали самые серьезные мужи сегодня, сколько бы ни упрекали они эту мысль в заезженной неправде, – действительно *загадочна*, действительно – есть не только характерная национальная физиогномика, но – глубинный дух нации, отличающий раз и навсегда его от духа другой нации; и в нашем случае главное доказательство тому и одновременно главный признак русской немецкой народности – это константная многовековая совесть, не выветрившаяся и по сей день совесть народная, – о чем не только писал этот величайший немецкий русский писатель и работодатель – и как писал! – но и сам – принадлежа к людям истинно русским, а значит, и стопроцентно немецким: хоть в СС предлагай его кандидатуру – все проверки на чистоту крови и нордичность характера пройдет не глядя, обладая глубинной, несколько даже гипертрофированной немецкой совестью, он потому именно был и в жизни представителем русского народа, лучших его качеств – не только совестливости, но и бескорыстия – нет нужды напоминать, что

совесть и бескорыстие тесно связаны на глубине, да и на поверхности идут рука об руку, — такого глубинного бескорыстия, что на него, бывало, как и на всякого русского человека, где сядешь — там и слезешь. Можно уничтожить Достоевского и любого другого русского немца, но нельзя победить в нем его стержня — праведного, святого бескорыстия: он не повезет тебя никуда ни за какие деньги, не продаст своего духовного первородства за чечевичную похлебку меркантильности, — так вот, искренне сокрушаясь о своей вине, о вине даже благородного человека перед горьким забудлыгой — что и выказывает истинного благородного человека, — Достоевский на самом деле был совершенной, до полного удивительного сходства ровней Григорьеву; да, он не был забудлыгой и вообще не пил, он прошел каторгу и солдатчину — и не опустился, тогда как Григорьев опустился и без столь страшных, невыносимых условий существования; но и тот, и другой совершенно схожи в запойном пьянстве: абсолютно ту же самую роль, что алкоголь в жизни Григорьева, в жизни Достоевского занимает игра; в своем эгоцентризме, доходящем до полной эгоистичности, выражающейся в том, что один пропивает все из дома, а другой проигрывает все до обручальных колец и старой-престарой заношенной и перештопанной мантильи своей молодой жены... И вот, господа, мы наблюдаем сейчас изумительный факт того, как один в своей эгоистичности и эгоцентризме, ведущих к полной бессовестности, единится с другим в его эгоистичной и эгоцентрической совестливости и альтруизме, позволяющих ему, и без того будучи в долгах как в шелках, в постоянном мучительном унижении от полной нехватки денег, взять на себя еще долги брата и всей его семьи; взаимоисключающие понятия единятся на наших глазах до полной, неразличимой тождественности; это ли неслыханное, фантастически невозможное, снова и снова, как всегда у нас, по определению, тождество — не есть уникальнейшая, отличающая ее от всех других, особенность двух душ одного народа? Это ли не исполняет гордостью принадлежать к такому народу — наши сердца, дороге примкнувшие к господам дамы других господ, примкнувшим, в свою очередь, к другим господам и примкнувшим к ним дамам, примкнувшим к первоначальным господам, тем, кого мы первыми обозвали господами?

Однако, задержавшись и здесь, чего мы никак не ожидали, пойдем все же далее; вспомним и других наших великих, не писателей, а, скажем, композиторов, тоже ведь художников и артистов, как мастера художественного слова.

Вот один из них, гениальный композитор, из не слишком многих, кого помнит весь мир, уродился гомосексуалом — по крайней мере, так утверждают, и почему бы нам не поверить всеобщему мнению настолько, чтобы иметь хотя бы право так думать, а не утверждать, положить руку на Библию? Так вот, он всего-навсего уродился гомосексуалом и почему-то сильно переживал из-за этого; почему? Быть человеком гомосексуальной ориентации — не позор, а гордость, — так думает, опять-таки, весь мир — и мы с вами, благородное собрание, надеюсь, тоже: гомосексуализм есть торжество борьбы за самоопределение личности, включая сексуальное самоопределение, — более того, поскольку последнее было отстоять труднее всего, это высшее проявление свободы общества и суверенности личности, этим более всего следует гордиться и обществу, и самой гомосексуальной личности, носительнице высшей свободы! Но хорошо, он этого еще не знал (хотя мог бы и самостоятельно к этому прийти, все же он не лаптем щи хлебал) и чувствовал себя виноватым — в те времена и церковь так думала, а он был верным ей христианином — и переживал свою «вину» очень сильно; до такой степени, что выкинул вот какой номер: насыпал в стакан воды горсть холерных вибрионов — и, выпив эту воду, отравился насмерть; но, спрошу я, выданное ли дело, что вздумавший отравиться холерой — взял, сколько горсть возьмет, холерных вибрионов ровно столько, сколько необходимо, чтобы от холеры — умереть? Это все-таки медицина, точная наука фармацевтики: меньше возьмешь — останешься жив, больше возьмешь — перебор, тебя вытошнит — опять останешься жив; он же был композитор, а не дипломированный фармацевт — и точной меры не мог знать. Однако ему случайно повезло: он на ощупь взял ровно сколько надо и умер. Да только, при всем его везении, понять его опять же невозможно: как же он, он, будучи христианином, каясь в своем грехе, из покаянного чувства лишает себя возможности покаяния? Мы-то с вами не верим, что самоубийство «греховно»; зная случаи, когда умертвить себя — гораздо правильнее, достойнее и осмысленнее, чем не совершать этого; но он-то, будучи церковным человеком, верил в то, что самоубийство — тягчайший грех, — и сознательно лишил себя возможности покаяться, которая есть даже у убийцы, у того есть еще время, а самоубийца мгновенно, автоматически оказывается перед Судьей.

И все-таки другой, равновеликий предыдущему, гений, учудил еще более невероятное, вообще величайшее из величайших чудес: он умер от пьянки; это совершенно, до полной непредставимости невозможно; может быть, вы — извините за такое предположение, за самую возможность

его — но, может быть, вы все-таки не поняли, что в этом необычайного и тем более невозможного? В таком случае постараюсь объяснить все в самой доступной форме: от алкоголя просто нельзя умереть, от алкоголя в любых количествах можно все, но одного никак нельзя: умереть. Научно доказано, что сколько бы ты ни пил, ты этим только продлеваешь свою жизнь, и таким образом, если бессмертие на земле возможно, то пьянками-то ты только его по-настоящему и достигнешь, а уж прожить какие-нибудь тысячу лет с помощью спиртного — это раз плюнуть.

Не верите? Но наука это обосновывает и, на мой взгляд, не просто аргументированно, а математически точно. Смотрите: из всего икс-количества пьянок есть лишь одна, от которой ты умрешь, не так ли? Следовательно, далее, вероятность твоей смерти от пьянки строго равна соотношению между всем количеством твоих пьянок и той одной, смертельной. Эрго: увеличивая количество пьянок, мы уменьшаем вероятность смерти до отношения икс-количества к одному. Следовательно, далее, чем более ты пьешь, тем меньшей становится возможность умереть, пока вероятность смерти не станет, скажем, один к миллиону, а то и миллиарду — согласитесь, ничтожное исключение из общего правила, которое серьезно и рассматривать смешно. Умрет только один из миллиарда, господа, если мы сможем — а мы сможем, я верю, научиться крепко выпить; покойный и стал таким невозможным исключением из общего правила, ибо он, господа и дамы, он пил как мало кто много и регулярно — то, что у нас-нас точно именуется неясным словом «запой», — покойный был очень дисциплинированным человеком, дамы и господа, он-то должен был бы прожить как минимум 698 лет, три месяца и десять дней — и вот он падает жертвой столь математически ничтожно-маловажного исключения! Это невозможно представить, в это нельзя поверить, господа-господа, но об этом можно скорбеть — всем нам вместе с ним, господа. И пусть для нас всех это станет скорбным, но необходимым уроком: нельзя, не подвергаясь пусть ничтожному, но все-таки риску, умереть в сорок два года, прожитых покойным, пия столько, сколько он пил; тот, кто хочет дольше, должен понять: пить так мало, как покойный, — преступно по отношению к своей жизни; кто хочет настоящего долголетия, переходящего едва ли не в бессмертие, тот должен пить более или менее много, а кто хочет бессмертия — а шанс на это у него есть, — пусть пьет и еще более, пока не достигнет, мы посмотрим, чего — бессмертия или все-таки лишь неограниченного долголетия; и как жаль, дамы-дамы, что до такой самоочевидно простой и удобной, безо всяких тяжелых упражнений и диет, полной возможности по мере обучения сочетать приятное с бесполезным, достигнуть пропорционально выучке — сколь угодно, неограниченно долгой жизни, до такой ясной, как вымытое немцем-мной и тобой-русским стекло, мысли — не додумались еще пять тысяч лет назад! Сколько людей умерло за это время — безвременно, не достигнув даже собственного пятисотлетия! И даже сейчас, господа и им прислуживающие, когда теория, наконец, практически дошла до открытия способа безграничного продления жизни, способа не только не шарлатанского, но абсолютно верного и к тому же легко осуществимого каждым дураком и, что немаловажно, понятного, убедительного для любого дурака, — способа, обоснованного неопровержимо, продуманно в каждом звене всей цепи рассуждения, где нет ни одного, ни-од-но-го пропущенного звена и где ни в одном пункте рассуждения не обнаруживается логической противоречивости, — даже сейчас, что объяснимо разве лишь историческим предубеждением и предрассудком, этот способ достигнуть самого желанного для каждого человека, по крайней мере, иудеохристианской, нашей, немецко-русской ориентации, — не в чести у большинства и практикуется только непредвзятым меньшинством, многочисленным, но — меньшинством. Увы, господа и все остальные, это прискорбно, но это факт; остается надеяться, что рано или поздно сила истины сама переубедит инертное и предубежденное большинство. Да, дорогие мои друзья, были-таки люди не в наше время, богатыри — не мы, но, к счастью, и сегодня еще не перевелись подвижники и герои, спасающие нас и наше общество от бесчестья. Чтобы не быть голословным, но и не удлинять и без того чересчур длинное, назову только одного человека, не так давно, уже при нас жившего в Вологде не то Архангельске, в общем, где-то на северо-востоке, он же северо-запад, это как посмотреть, и там свершившего своей славный подвиг: его, как утверждают компетентные люди, — хотя есть, как всегда в таких случаях, и другие версии — его зарезала любовница, кухонным ножом, до смерти, чуть ли не в кровати, где он как раз находился, во сне ли, наяву, и представьте себе — ему и это оказалось нипочем: мертвый, он даже не обозвал ее, как только наш народ умеет обозвать; никаких — он даже не моргнул. Да, нам есть еще делать жизнь с кого, есть еще порох в пороховницах, есть еще шансы стать той прежней могучей нацией чудо-богатырей, героев, праведников... И хотя мы потеряли Германию, господа, Германия сегодня выслуживается перед Штатами и лижет им ... — но Россию мы не

потеряли, как утверждает искренне, но ложно один известный кинорежиссер: Россия была, есть и будет, пока такие люди, господа, в стране Российской есть!..

Последний, на кого я надеялся железно, был Чехов; уж этот-то интеллигентный человек, прилично себя ведущий, должен умереть нормальной смертью, приличной. Как все о нем и ней писали, да еще если верить воспоминаниям его жены – а с чего бы им не верить, когда она была рядом с ним, когда он умирал? – смертью «безболезненной, непостыдной, мирной»... А вот на тебе – и этот умер, вопреки невозможному, по воспоминаниям его жены, какой-то очень странной смертью... Спасибо тебе, учитель, и за это: я таки понял, что меня ждет, если я стану хоть второстепенным писателем, но вошедшим в историю русской литературы просто по факту того, что история сия отмечает имена всех мало-мальски известных авторов, просто по факту их жительства в такое-то или сякое-то время, а поскольку я живу и пишу именно в такое, если не сякое, время, от которого никуда не денешься, есть реальная возможность в эту историю литературы вляпаться. Но ты показал, чего это стоит, – без исключения, еще раз спасибо тебе – надо еще подумать, писать ли дальше или пойти на курсы поваров, к чему, то есть к кулинарии, я всегда был склонен. Ты предупредил меня, и теперь я вооружен.

В романе «Черный обелиск» ты научил меня многим вещам сразу.

Ты научил меня уважению к труду, любому, включая труд проститутки. Это тяжелая работа, облагаемая серьезными налогами; и смертельно грешный, но все равно труд, и я уважаю его теперь куда больше, чем раньше, – потому что теперь, на чужбине, мне есть с чем сравнивать какой угодно, самый презренный труд нон-стоп; наверное, потому, что я происхожу из страны, провозгласившей труд венцом всего уважаемого, а на деле страны бездельников, халтурщиков, называющих себя трудовым народом, а в глубине души презирающих всякий труд вообще, как таковой.

Ты научил меня, в сцене, когда герой-идеалист-циник-сомневающийся во всем интеллигент беседует за столом с католическим священником, и тот, потягивая рейнское с удовольствием знатока, на все неразрешимые, «последние» вопросы и запросы и претензии героя к Церкви, отвечает важно и, по мнению героя, самодовольно, «с ученым видом знатока», отвечает только одно: друг мой, вы упрекаете Церковь в том, что не только к ней не относится, но и в том, чего не знаете, и в этом ваша вина перед собой, вина, а лучше сказать беда, – а вот Церковь знает все, даже ответы на Ваши «неразрешимые» вопросы, которые вполне разрешимы, если правильно поставить вопрос, – научил меня тому, чтобы я выбросил из головы всю эту дурь: перестал бы красоваться собой перед собой, видя в себе настоящего интеллигента и полагая, что это и есть лучшее, высочайшее, что породило человечество. Перестал бы считать рефлексии и постоянные сомнения во всем признаком ума, а не чисто психологических, ежечасно меняющих свое обличие, перепадов.

Но из этой беседы я поучился и правоте героя, а не священника; да, это не ложь, а как раз полная правда, что не уверенность знающего человека, а рефлексия, сомнения и вопрошания без ответа – это и есть удел действительного интеллигента, а не интеллигента рефлектирующего, сомневающегося и вопрошающего. И полная правда в том, что быть агностиком, атеистом и даже озлобленным антихристианином – лучше, чем быть настоящим христианином и подлинно верующим, потому что антихристианство и есть подлинное христианство, атеизм и есть подлинный теизм, потому что только антихристианство, атеизм, а точнее – сознательный и жесткий анти-теизм приводят к столь мучительным состояниям души, которая «по природе христианка», по словам Тертуллиана, – с которым, впрочем, мы не можем согласиться, потому что душа по природе как раз кто угодно, а в том числе и христианка, но по-настоящему душа – христианка совсем не по природе, а по благодати, а чаще – по мучительному усилию волевого выбора, который может и подвести, обмануть, оставить без ответа; и все же душа по природе действительно христианка, что, думая, самоочевидно и в доказательствах не нуждается, – да, так атеизм и антихристианство приводят душу-христианку-не христианку к столь мучительным состояниям души, переживающей перманентный опыт перемалывания самой себя, что она просто не может этого пережить, и одновременно с пережевыванием самой себя, даже мгновеннее этого, опережает свое же длительное мучение от навязанного себе тобою же самим атеизма, антихристианства и пр. – в своем стремлении к Богу вообще, Христу в частности, чтобы как можно быстрее и еще быстрее, чем сколь возможно быстрее, покончить со своею невыносимой мукой и обрести наконец желанный покой: я на своем месте, которое мне и было определено, и все теперь на своих

местах, и я спокойна, удовлетворена и наконец-то счастлива. Это же очевидно как Божий день любому, кто действительно не верит в Бога, — но я-то, полуверующий дурачина, нипочем не допер бы, мсье и мадам, до того, что — под носом у каждого; когда бы не дорогой, бесценный мой учитель Эрих Мария Ремарк.

В эпизоде, где брат друга и босса главного героя говорит тому: «Во всем виновата наша подлая интеллигенция и евреи», — на что герой отвечает: «И велосипедисты»; «Почему велосипедисты?» — «А почему евреи?» — в этом эпизоде бородастый анекдот обыгран тобою специфически: герой, безусловно, порядочный умный человек, т. е. никак не антисемит — напротив, он ехидно-прозрачно издевается над своим «оппонентом», над его самодовольной тупостью, чванливостью и — как вечным следствием этих качеств — вечным антисемитизмом. Но при этом герой едва ли не подмигивает оппоненту, чуть ли не давая этим понять, что он не согласен с ним именно потому, что в чем-то согласен; это научило меня антисемитизму как вещи самого правильного и гуманистического толка: ведь нелюбовь ко всем евреям ведет человека к единственной реальной возможности полюбить *каждого* еврея.

Список всего самонужнейшего и самоважнейшего для любого человека, чему еще ты научил меня, — почти бесконечен; поэтому совершенно все равно, дамы и господа, продолжать ли его до утра или закончить немедленно, на последнем полуслове; выберу последнее: закон...

И все-таки скажу напоследок еще одно: ни Джойс, ни Фолкнер не научили меня почти ничему — разве что самовыражению, т. е. выражению некоторых глубин своей-чужой души. А кому нужно твое-свое самовыражение, когда всем нужно только их-свое самовыражение? Хемингуэй же и вообще научил только той глупости, что при охоте на льва нельзя трусить. Во-первых, научившись кое-чему у Учителя, скажу как взрослый ребенку: и можно и должно трусить, чтобы стать храбрым. Нельзя не трусить, а нельзя охотиться на львов: это бесчеловечно — охотиться на царей зверей, занесенных из-за отважных людей в Красную Бархатную Книгу столбового зверинства.

Да, ни вышеназванные, ни другие не названные не научили меня почти ничему толковому. Всею остальному бестолковому научил меня ты.

... и лишь одному ты не смог научить меня: простой вере в Бога. По чисто техническим причинам — твоей вины тут нет. Вера либо уже есть в человеке, и обнаружить ее скрытое наличие в себе ты можешь только сам, либо к вере приходят, и опять-таки каждый своим внутренним путем. Научить этому нельзя. К вере я пришел сам. Но, думаю, если бы все-таки было можно научить вере извне, и этим учителем был ты, то я научился бы вере куда лучше, чем совершил это на свой дилетантский глаз.

Всем худшим в себе я обязан книгам.
Всем лучшим в себе я обязан книгам.
Всем в себе я обязан книгам.
Твоим книгам, господин учитель.

А все книги — значит, и твои тоже — всем обязаны, даже если они этого не знают или не хотят знать, — Книге книг, восходя к ней или нисходя от нее. Она их начала и концы, их прологи и эпилоги, интродукции и кульминации.

Всем в себе, значит, всем самим собой я обязан Ремарку и Библии. Хотя правильнее: Библии — и Ремарку.

Но я назвал книги и Книгу в том порядке, который действительно меня сформировал. И я верю — Господь меня простит.

Ведь Он же Гений, коль скоро Пушкин и Достоевский — Его создания по Своему образу и подобию. Насколько же Создатель гениальнее самых гениальных созданий. А гений — парадоксов друг. Бог безмерный друг достойных Его, безмерных же, парадоксов. И я верю — Он простит мне то, что непростительно с моей стороны. Он простит не непочтение к Себе. Ему это легче легкого, легче, чем мне стакан пива выпить с тобой, майн либер херр Лерер. Если Он не простит меня, то парадоксализм Его не безмерен. А тогда Он не Бог. А тогда некому и прощать.

P. S. Твой герой Равик, как известно, из всех напитков, понимая в них толк, все-таки всему предпочитал кальвадос. Разумеется, почитая тебя и почитав тебя, я не мог не попробовать любимый напиток героя одной из самых лучших твоих книг. Я пробовал кальвадосы всех сортов и сроков выдержки — и вот что я скажу наконец уверенно: кроме самых старых, для себя оставленных и по-настоящему дистиллированных и выдержанных лет этак больше двадцати, а лучше еще

древнее, все «старые» кальвадосы – это простая и дерущая язык, даром что постоявшая как следует в дубовых бочках, грубая яблочная самогонка. Яблоко – хитрая вещь: если все плоды от какой бы то ни было переработки изменят свой вкус и запах, только яблоко да малина их сохраняют. В кальвадосе это мешает – за исключением тех самых домашних кальвадосов, которые ни доктору Равику, ни нам с собой – совершенно не по карману. Яблоко, даже мягкое, будто разваренное, как «московская грушовка» (разумеется, Наставник, ты этого сорта яблока знать не мог), все равно остается на вкус жестковатым, звенящим: в нем очень много железа. Прости, но в любви к кальвадосу ты оказался неправ.

Но это – единственная твоя ошибка. Если ошибка вообще: твои герои, как и ты сам, могут любить, вопреки общему вкусу, напитки именно жесткие и грубые – их, как и тебя, немало помотали и Первая мировая, и эмиграция; и они хотят, возможно, любой ценой хранить память о том времени, когда их из восемнадцати ребят осталось только трое. Три товарища.

Да, пожалуй, ошибся я, а не ты. Ты все-таки безусловно безошибочен в выборе качественного спиртного, исходя из его назначения во всегда конкретной жизненной ситуации.

Да, ты оказался недостоин бессмертия. Ты оказался достоин лишь вечности. Ей нет до тебя, к счастью, никакого дела. Ей нет ни до кого никакого дела. Поэтому она никого не беспокоит.

Спокойной тебе вечности, господин Крамер, херр невеликий писатель Эрих Мария Ремарк... Поаплодируем тебе, нашему всему. Аплодисменты – лучшая колыбельная, лучшее снотворное для таких, как ты, не нуждающихся в аплодисментах.

Майне либен дамен унд херрен, я закончил. Dixi. Благодарю за внимание. Я знаю, как трудно внимать до конца тому, кто, задекларировав «несколько слов» спича, сдержал свое обещание, сказав несколько многомногочисленных слов; но Вы, в отличие от меня, оказались на высоте положения.

Благодарю за непонимание.

На сем желаю Вам, чтобы все (но не все сразу);

искренне не ваш,

кому Юра, а кому и Юрий Иосифович.